

СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ

## СМЕРТЬ НЕ УСТУПИЛА НИ ДНЯ

(25 лет без В. Шукшина)

Быстро летят годы!..

Двадцать пять лет прошло, как не стало Василия Макаровича Шукшина. Выросло целое поколение людей, знающих его только по книгам, спектаклям и особенно по фильмам, справедливо называемым шукшинскими, потому что и автором сценариев, и режиссером, и исполнителем главных ролей в них был он, Шукшин! Редчайший, если не единственный случай в русском кинематографе, которому, фактически, он же и положил начало. А почему бы и не быть ему, русскому кино, думалось после его фильмов, когда существовало уже и успешно развивалось кино грузинское, например, узбекское, украинское?..

Весть о его смерти для миллионов людей, успевших полюбить его и как писателя, и как киноактера, была поистине громом среди ясного неба (ему едва исполнилось сорок пять) и потому невыразимо горестной. А для нас, его товарищей, помнивших гром его сапог по коридору, его рукопожатие, выдавших его в радости и гнев, знавших цену его таланта, она, без преувеличения, была огромной личной утратой.

В. М. Шукшин — одна из самых ярких страниц в истории "Нашего современника" начала 70-х годов, немногословная, но яркая, я бы даже сказал — блистательная! Мне уже доводилось писать об этом в своих воспоминаниях, приуроченных к сорокалетнему юбилею журнала ("НС", 1996 г., № 9—12), и думаю, нет необходимости повторяться. Напомню только некоторые события, запечатленные на этой странице.

В "НС" Василий Шукшин пришел впервые летом 1971 года с рукописью рассказов, которые были нами сразу же напечатаны ("НС", № 9) под общим заголовком "Характеры". Следующая публикация — и опять весьма значительная — состоялась через год. Радуясь так удачно начавшемуся сотрудничеству, я предложил ему войти в состав редколлегии журнала. Он принял предложение. В следующем, 1973 году в апрельской книге журнала появилась его киноповесть "Калина красная". А еще через полтора года, в номере десятом за 1974 год, — пьеса-сказка "До третьих петухов", ставшая, по моему мнению, вершиной его писательского успеха.

В ней талант его обрел еще одно достоинство — может быть, главное! — мужественность! Талантливый писатель — любой! — не может не явить его — мужества, ибо только тогда он, талантливый, становится писателем национальным. Поражает роковое совпадение дат публикации "сказки" и смерти писателя: октябрь 1974 года. Правда, смерть коварно опередила публикацию, не уступив писателю ни дня, чтобы он мог увидеть "сказку" напечатанной и улыбнуться переполоху в стане русофобов, узнавших в "чертях", действующих в "сказке", себя.

"Ванька, смотри!" — так в трудных ситуациях окликает главного героя "сказки" один из ее персонажей — Медведь; смотри, кто окружает и кто дурачит тебя. Автор придавал большое значение этому оклику-предостережению, настолько большое, что намеревался даже вынести его в заголовок "сказки" (о чем нам стало известно потом), но воздержался, решив, видимо, послушать, что скажет по этому поводу редакция. Я предложил ему два варианта названия: "До третьих петухов" и "К мудрецу за справкой", заботясь об одном — смягчить идейную остроту "сказки", акцентировать внимание цензора на комедийной стороне ее, потому что знал: заголовком можно убить вещь и можно спасти ее. С этим и направил письмо Василию Макаровичу на Дон, в кино-экспедицию, где он снимался в фильме С. Бондарчука "Они сражались за Родину" в роли русского солдата Лопихина. Ему больше понравился первый вариант — "До третьих петухов".

Кстати, там, на теплоходе "Дунай", пришвартованном на время съемок к берегу,

"сказка" и была написана: другого времени для литературной работы у него не было, что подтверждает и кинооператор Анатолий Заболоцкий, опубликовавший недавно свои воспоминания о Шукшине ("Шукшин в жизни и на экране", "Роман-газета", 1999 г., № 10). На мой взгляд, это самое честное и правдивое повествование о жизни и творчестве Шукшина-кинорежиссера. Да и было что автору рассказать: он снимал два фильма своего кумира и друга — "Печки-лавочки" и "Калина красная". Ему же Василий Макарович планировал доверить съемки и "Степана Разина"... Можно ручаться, никто не знал Шукшина лучше, чем он, Заболоцкий, — и как человека, и как режиссера-постановщика. Его свидетельства по этой части лично для меня открыли другую, неизвестную мной половину жизни Шукшина, я бы сказал, главную половину.

К великому сожалению, фильм о "русском национальном герое" (так представлял себе Разина Василий Макарович) не состоялся. Мраморная глыба грандиозного замысла так и осталась глыбой. И не потому, что мастер умер, едва прикоснувшись к ней; его держали за руки, как держали, скажем кстати, и другого выдающегося кинодеятели С. Ф. Бондарчука, всю жизнь мечтавшего сделать фильм по великому "сценарию" Гоголя "Тарас Бульба". "Поляки обидятся"... — возражали ему высокопоставленные чиновники, а имели в виду совсем не поляков, а тех, кто обиделся на депутата Госдумы Макашова, нечаянно произнесшего слово, которое в простоте душевной то и дело произносят Гоголь и его герои.

Два великих сценария, пронизанных русским национальным духом, остаются невостребованными... А как же здорово было бы, если б русский кинематограф имел в своем активе картины "Степан Разин" и "Тарас Бульба"!

Я знал, как болезненно реагируют на оклики, подобные шукшинскому "Ванька, смотри!", в реальном "монастыре". Оглядывающийся, а значит, задумывающийся Ванька там был не нужен: с беспечным простаком, простофилей, вдобавок — пьяницей, очумевшим от "политур" (именно такое пойло припасают для похода "на покладистый народ" шукшинские "черти"), иметь дело было куда спокойнее.

Знал. И потому — "До третьих петухов"! Сказочка!..

Что с нее взять?!

Но и с таким абсолютно безобидным, без всякого подтекста подзаголовком — "сказка" все равно перепугала цензора, и он, в соответствии с определенным ему регламентом, доложил, конечно, о своем испуге "монастырью", и "настоятель" его, а не он — десятая спица в колесе — решал: быть ей выпущенной в свет или нет.

Напомню, что происходило все это в дни, когда в центральных газетах одна за другой публиковались статьи о неожиданно умершем писателе. И во всех — одно и то же: какой он, оказывается, был талантливый, если не гениальный. И вывод: литература и искусство "понесли тяжелую утрату"...

Слыша, какой гул нарастает вокруг "монастыря", гул, в котором слились воедино и любовь народная к писателю, и тревожное недоумение — почему так неожиданно и странно (во сне!) умер он, — умер полный энергии и творческих замыслов, — слыша этот гул, "монастырь" отдал распоряжение пропустить "сказку" в печать. Понимал: запретить ее — означало бы "расшифроваться", как выражался в подобных случаях покойный... "Расшифроваться" — и значит дать повод недоумению перерасти в возмущение, а то и в гнев.

Цензор, конечно же, был посвящен в такой ход "монастырской" мысли. Он так и сказал мне: если бы автор не умер к этому дню, разговор был бы совсем иной... Ясно — какой...

Что же получалось? А то, что за возможность крикнуть: "Ванька, смотри!" писатель заплатил жизнью.

При таких вот драматических обстоятельствах увидело свет последнее, предсмертное, сочинение В. Шукшина "До третьих петухов".

Увидеть-то увидело... Но событием в литературе и в народной жизни не стало: "монастырем" было отдано негласное распоряжение: "сказку" замолчать. Ни в одной газете, даже в "Литературной", о ней не было написано ни строчки — ни равнодушно-информационной, ни злобно-ругательной. Издательство "Молодая гвардия", на волне читательского бума выпустившее двухтомник В. Шукшина, включило в него почти все опубликованное при жизни писателя, в том числе и самые крупные его произведения — романы "Любавины" и "Я пришел дать вам волю", — все, кроме... пьесы-сказки "До третьих петухов" ("Ванька, смотри!")

В 1979 году в издательстве "Советская Россия" вышла книга В. Шукшина "Нравственность есть правда". Лев Аннинский, написавший предисловие к ней, и через пять лет после смерти писателя побоялся не то что поговорить о пьесе-сказке "Ванька, смотри!" в разрезе "нравственности" и "правды", как их понимал Шукшин, но даже не упомянул о ней.

Любопытно бы узнать, почему?

Раздумывая об этом, я обратил внимание на один эпизод в книге Заболоцкого, проливающий свет на подлинное отношение Аннинского к Шукшину. А. Заболоцкий пишет:

"Был вечер памяти Шукшина (в первый год после смерти)... Во вступительном

слове Лев Аннинский высказал мысль, что Шукшин, сам будучи полуинтеллигентом, обрушился против интеллигенции. Из зала раздался громкий одинокий протест, что-то вроде того: "Сам ты полуинтеллигент!" Аннинский, прервавшийся, попросил объявиться кричавшего. Тот простодушно встал. Часть зала и оратор потребовали выдворить нарушителя из зала. Тут же нашлись и исполнители. Вслед изгоняемому кричали: "Пьянь! Черносотенец!" (ясно, какую "интеллигенцию" тешил критик. — С. В.) Вскоре Лев Аннинский стал главным шукшиноведом, сопровождая своими комментариями почти все вышедшие после смерти книги Шукшина...

Итак, "главный шукшиновед" считает, что Шукшин "полуинтеллигент", то есть немного подучившийся мужичок-алтаец. Словно предвидя столь унижительный ярлык, Шукшин в своей статье "Монолог на лестнице" заранее объяснился с будущими "шукшиноведами":

"Начнем с того, — писал он, — что явление это — интеллигентный человек — редкое. Это — беспокойная совесть, ум, полное отсутствие голоса, когда требуется — для созвучия — "подпеть" могучему басу сильного мира сего, горький разлад с самим собой из-за проклятого вопроса "что есть правда?", гордость... И сострадание судьбе народа. Неизбежное, мучительное. Если все это в одном человеке — он интеллигент" (выделено мной. — С. В.).

Бросивший Аннинскому довольно обидную реплику человек из зала, видимо, знал процитированное выше высказывание Шукшина. И если это так, то... Впрочем, решайте сами.

Не появилась "сказка" и на театре. Ни Г. Товстоногов, прочитавший ее еще в рукописи (выпросил у Василия Макаровича под клятвенное обещание поставить ее в Ленинграде), ни даже коллега Г. Бурков, примерявшийся к роли Ваньки, когда "сказка" еще писалась, не приняли ее к постановке. Можно предположить, что и тот, и другой сочли ее "неподъемной". Можно... Но скорее всего, что первый из них — Г. Товстоногов — отверг ее по "идейным" и, каким там еще, соображениям, а Г. Бурков просто испугался. Взяться за постановку такой "сказки" (в "монастырских" кельях ее сразу же окрестили "антисемитской") означало навлечь на себя гнев среды, отвергавшей В. Шукшина изначально, а после обнародования "сказки" возненавидевшей его. Некий Ф. Горенштейн, известный в этой среде, как соавтор А. Тарковского, в газетном опусе, озаглавленном "Алтайский воспитанник московской интеллигенции (Вместо некролога)", писал:

"Что же представлял из себя этот рано усопший идол? В нем худшие черты алтайского провинциала, привезенные с собой и сохраненные, сочетались с худшими чертами московского интеллигента, которым он был обучен своими приемными отцами. Кстати, среди приемных отцов были и порядочные, но слепые люди, не понимающие, что учить добру злодея — только портить его. В нем было природное бескультурье и ненависть к культуре вообще, мужичья, сибирская хитрость Распутина, патологическая ненависть провинциала ко всему на себя не похожему, что закономерно вело его к предельному, даже перед лицом массовости явления, необычному юдофобству. От своих же приемных отцов он обучился извращенному эгоизму интеллигента, лицемерию и фразе, способности искренне лгать о вещах ему незнакомых, понятиям о комплексах, под которыми часто скрывается обычная житейская пакостность. Обучился он и бойкости пера, хоть бойкость эта и была всегда легковесна...

И он писал, и ставил, и играл так много, что к концу своему даже надел очки, превратившись в ненавистного ему "очкарика"...

Те, кто вырывал с корнем и принес на похороны березку, знали, что делали, но ведают ли, что творят, те, кто подпирает эту березку своим узким плечом? Не символ ли злобных темных бунтов, березовую дубину, которой в пьяных мечтах крушил спинные хребты и головы приемным отцам алтаец, не этот ли символ несли они? Впрочем, террор низов сейчас принимает иной характер, более упорядоченный, официальный, и поскольку береза дерево распространенное и символичное, его вполне можно использовать как подпорки для колючей проволоки под током высокого напряжения.

Но московский интеллигент... не исправим, и подтвердил это старик... известный эрудит. "Это гений, равный Чехову", — сказал он о бойком перышке (фельетонном) алтайца, который своими сочинениями заполнил все журналы, газеты, издательства...

И когда, топчя рядом расположенные могилы, в которых лежали ничем не примечательные академики, генералы и даже отцы московской интеллигенции, приютившие некогда непутевого алтайца, когда, топчя эти могилы, толпа спустила своего пророка в недра привилегированного кладбища, тот, у кого хватило ума стоять в момент этого шабаша в стороне, мог сказать, глядя на все это: "Так нищие духом проводили в последний путь своего беспутного пророка".

Читаешь такое — и удивляешься: сколько же может вместить душа человека ненависти и злобы, и как она не лопнет, будучи набита ими под завязку? И как тяжело, должно быть, обладателю такой души носить, как скользкий булыжник, эту ненависть под самым сердцем и при этом улыбаться предмету ненависти, лгать, лицемерить?

Но всемо бывает предел... Душа-таки не выдерживает ядовитой смеси и взрывается,

и тогда несчастный человечек раздражается бранью, подобной вышеприведенной. И вслед "усопшему идолу" летит: "злодей", "пакостник", "мужик", "пьяница", "беспутный пророк", "непутевый алтаец"! И похороны его, оказывается, совсем не печальный обряд, не скорбь, а "шабаш нищих духом" поклонников и почитателей "усопшего", то есть народа, пришедшего проводить своего сына в последний путь.

Не простил, несчастный, и "приемных отцов" "злодея", его учителей, первым в ряду которых, как известно, был Михаил Ильич Ромм. Робко этак, по-родственному, но все-таки бросил он "отцам" упрек: дескать, надо же помнить, почтенные, что "учить добру злодея — только портить его". Пословица хотя и извращена до бессмыслицы (в переводе на русский язык она звучит так: "учить ученого — только портить"), но все равно ясно, что имел в виду высокомерный "московский интеллигент".

Не знал, несчастный, что **вынужденно** занимались этим делом "отцы"-учителя, вынужденно! В приемной комиссии, — свидетельствовал сам Шукшин, — на мое счастье был Николай Охлопков. Он сам сибиряк, в ту пору в славе... Охлопков, царство ему небесное, отстоял мое поступление в режиссеры". Не случись, выходит, Охлопкова — пришлось бы ему "поцеловать пробой" на дверях ВГИКа и "идти домой", в Сростки, снова слесарить, пахать и сеять. И не стал бы он "учеником Ромма", что непременно подчеркивалось "московскими интеллигентами", когда обозначились первые успехи Шукшина писателя и сценариста, режиссера и актера.

А, между прочим, сам он однажды о Ромме высказался так: "Нет, благодетелем моим он не бывал, в любимцах у него я не хаживал... — И добавил с горечью, всё еще не истаявшей: — ...посмешищем на курсе числился... подыгрывал, прилаживался существовать".

Можно представить, как трудно было ему и "подыгрывать", и "прилаживаться", — ему, вчерашнему матросу-севастопольцу, за пять лет службы на флоте впитавшему в кровь матросскую лихость, бесшабашность и, конечно, "полундру", как синоним взаимовыручки и братства. Элитные мальчики, сыновья "московской (московской ли?) интеллигенции", по утрам косяками вливавшие в аудитории ВГИКа, не упускали случая подтрунить над "алтайцем" (такую национальность определил Шукшину Горенштейн), подчеркнуть свое "культурное" и родовое превосходство перед ним, и делали это открыто, а подчас даже нагло. Они, а не он, провинциал с "шипящей" фамилией (Горенштейна раздражала даже его фамилия) пользовались расположением мэтра, были его любимцами.

По окончании института Ромм не на словах, а на деле подтвердил это: со всего шукшинского курса взял на "Мосфильм" в штат режиссеров только А. Рабиновича, А. Гордона и А. Тарковского. "Алтайцу" Шукшину было предложено отправиться в Свердловск, в кинематографическую глушь. И это больно ударило по его самолюбию, вздыбило в его душе еще не утраченное чувство достоинства, подтолкнуло к решению ответить ударом на удар.

Есть, конечно, у Шукшина-вгиковца и благодарные высказывания о Ромме: не мог он, "провинциал", "посмешище", не "подыгрывать" сокурсникам, добивавшимся хотя бы благосклонного взгляда "учителя". Но то, что говорил он потом, став независимым, в частности, абсолютно доверительно Анатолию Заболоцкому, а может, и только ему, заставляет думать, что его понимание "учителя" было отнюдь не однозначным. Подтверждением тому эти, например, брошенные на ходу, фразы: "Правду наших отношений (с Михаилом Роммом. — С. В.) и "Посев" не обнародует". Или: "Утвердился я во мнении, что в мастерской Ромма не искали Ломоносовых". И еще: "Наступит срок, напишу всю правду и про Михаила Ильича!"

Увы, правды этой мы так и не узнали, и никогда уже не узнаем.

К моменту выпуска из института В. Шукшин уже понимал, что сделать что-нибудь значительное в кинематографе, громко заявить о себе, посчитаться с насмешниками и блатниками можно только здесь, в Москве.

И в Свердловск не поехал, поставив себя тем самым в трудное, как принято говорить, положение. Институт — позади. А впереди — полная неопределенность: студии нет, из вгиковского общежития гонят... Переписал начисто несколько рассказов, пошел в журнал "Октябрь". Редактор отдела прозы Ольга Румянцева — умная, по-матерински душевная женщина поняла, что перед ней талантливый, и весьма, автор, и представила его главному редактору журнала Всеволоду Анисимовичу Кочетову...

Очередной номер "Октября" вышел в свет с рассказами молодого автора Василия Шукшина — хотя какого уж там молодого: за тридцать перевалило...

А. Заболоцкий твердо заявляет: "Октябрь" стал для Шукшина той самой "соломинкой", ухватившись за которую он не утонул в бурном московском море, выгреб к берегу, почувствовал под ногами опору.

С этим ощущением, уже более уверенный в себе, он вышел еще на одного "главного" — Александра Трифоновича Твардовского, который, как свидетельствовала молва, имел исключительное чутье на новые литературные таланты. В Шукшине он с первого

взгляда увидел то, что искал, и без промедления представил его читающей России на страницах "Нового мира".

Можно не сомневаться, что могучий орел русской поэзии еще долго держал бы под своим крылом молодого орленка, если б не безвременная его кончина. С его смертью в доме, называвшемся "Новый мир", стали холодными ручки дверей и стены, другим стал воздух... Люди, продолжавшие делать журнал без него, видимо, не воспринимались Шукшиным как близкие по миропониманию, душа рикошетила от них, как бильярдный шар при столкновении с другим. С новыми рукописями идти в этот дом ноги не хотели. Они привели его в "Наш современник". И уже в сентябре 1971 года он увидел первую публикацию своих рассказов на страницах нашего журнала.

Но это все было потом... А сейчас была пока середина шестидесятых. И главным делом для себя он по-прежнему считал кино, а не литературу. Рвался реализовать себя как режиссера: ВГИК все-таки за плечами! Первый "блин" — картина "Живет такой парень" — получился вполне приличным; второй — "Печки-лавочки" — и третий — "Калина красная" — пришлось по душе уже большинству зрителей. Ими режиссер Шукшин и актер Шукшин весомо и зримо заявили о себе. Многие кинокритики признали это безоговорочно. Многие, но не все: его "земляки" Юдолевич и Лавинский в родной ему "Алтайской правде" не просто раскритиковали — разгромили фильм "Печки-лавочки"...

Но он уже научился держать удары. Никак не ответив на злобные выпады "земляков", продолжал работать, самокритично оценивая сделанное, отбирая в свою копилку крупицы опыта. Убедился, например, что киносценарий — это не просто сюжет, путеводная нить для постановщика, это одновременно и художественное произведение. И он, Шукшин, может такие сценарии создавать! Он — писатель, художник, он умеет психологически точно обосновать не только поступки героев, но и их жесты, реплики...

Таким именно получился у него сценарий "Калины красной", и он по праву назвал его киноповестью ("НС", 1973 г., № 4). Так же выписался в роман и сценарий "Степана Разина" и под названием "Я пришел дать вам волю" занимает достойное место в трехтомном собрании его сочинений.

Больше десяти лет прошло после окончания ВГИКа, но главный замысел — создать фильм о Степане Разине — оставался неосуществленным. Что бы он ни делал в эти годы — ставил свои фильмы, снимался в чужих, писал рассказы, — о нем, главным, не забывал. Упорно, шаг за шагом, шел к нему, все глубже постигая характер героя, его психологию, социальные (и национальные!) мотивы его бунтарства, его, оставшиеся в памяти народной подвиги, гуманные по отношению к угнетенным и жестокие по отношению к угнетателям.

25 февраля 1971 года он подал первую официальную заявку на фильм директору Киностудии им. М. Горького Г. И. Бритикову. И дело вроде бы пошло — так, по крайней мере, ему казалось... Но на очередном совещании в начальственном кабинете Валерий Аркадьевич Гинзбург, назначенный приказом директора студии вторым оператором (вместе с Заболоцким), вдруг заявил, что он будет не просто оператором, а оператором-режиссером.

Шукшин, расценив это заявление как покушение на его творческую индивидуальность, как откровенную попытку втереться в соавторство, а может быть, опять и в "учителя", буквально взорвался. Он, как вспоминает А. Заболоцкий, побледнев, вскочил со стула и резко возразил Гинзбургу: "Ну, режиссером я буду сам! Один! И разговор закрываю!"

Дорого обошлась эта минутная вспышка Василию Макаровичу... А к ней добавился еще "случайный" и, как нередко бывает в таких случаях, слишком откровенный разговор с самим Бритиковым. После, наедине с Заболоцким, с сожалением вспоминал: "Весь ему выложился... О геноциде против России все свои думы выговорил... Расшифровался. Так что не работать мне на студии Горького".

Предчувствие не обмануло его...

Вскоре худсовет студии принял решение "прекратить проведение подготовительных работ по фильму "Степан Разин". Только через три года, весной 1974-го, вновь ожива надежда, что фильм все же можно "пробить", и он подал вторую заявку, на сей раз генеральному директору "Мосфильма" Н. Т. Сизову — поверил, что этот человек (кстати, тоже писатель) поймет его. "Жанр фильма — трагедия, — писал он в заявке. — Но трагедия, где главный герой не опрокинут нравственно, не раздавлен, что есть и историческая правда. В народной памяти Разин — заступник обиженных и обездоленных, фигура яростная и прекрасная..."

И, как самый весомый аргумент в защиту героя фильма, добавил: "Память народа разборчива и безошибочна".

В одном из интервью конца 60-х годов В. Шукшин сказал: "Если хватит сил, хочу сыграть Степана Разина в фильме "Я пришел дать вам волю". К моменту подачи заявки в "Мосфильм" силой такой он располагал. Иначе зачем бы предлагать директору запустить фильм в производство уже в августе 1974 года, с тем чтобы в мае 1975-го начать съемки, а в 1976 году выпустить на экран.

Но... и генеральный директор оказался не всемогущим. И Василий Макарович вскоре это понял. Объясняя Заболоцкому, почему решение по фильму затягивается, говорил: "Не видишь — идет игра? "Разина" оттягивают, чтобы опять спустить все дело в песок. Никому он не нужен, Разин этот, а с ним и молчаливый русский народ".

Тут же, вспомнив о ставших известными ему "закрытых" рецензиях на сценарий "Разина" (его сценарий), с горечью добавил: "Смотри, твой любимый Ростислав Юренев что пишет!.. Все против — Юткевич, Блейман, даже поэт Цыбин хлещет без пауз!"

В конце сентября, за несколько дней до смерти, В. Шукшин еще раз собрался на Дон, на последние досъемки фильма "Они сражались за Родину". Накануне дал А. Заболоцкому тоненькую, старинного издания брошюрку, на обложке которой значилось: "Протоколы сионских мудрецов" (какой-то композитор преподнес при встрече: очень хотел понравиться Шукшину).

Утром, уже уложив чемодан, Василий Макарович позвонил Заболоцкому: "Ну как сказочка? Мурашки по спине забегали? Жизненная сказочка — правдивая. Наполовину осуществленная. А говорят, царской охранкой запущена, а не Теодором Герцлем".

"Жизненная сказочка!" — очень важные слова. К пьесе "Ванька, смотри!" они имеют прямое отношение.

И еще один эпизод из этого ряда.

Работа в группе Бондарчука — а это была действительно работа, тяжелая в своей солдатской реальности — запомнилась Шукшину и встречей с Шолоховым, в станице Вёшенской, в его доме... О чем еще говорить с великим писателем, как не о самом наболевшем. Даже в застолье! И он, как только очередь "сказать что-нибудь" дошла до него, встал и... Г. Бурков, вспоминая об этой минуте, употребил слово, нравившееся самому Шукшину: "встал и сразу *расшифровался*: слишком, дескать, много говорим мы о русском характере, а народ вымирает, и пора искать путь русского единства".

А. Заболоцкий уточняет: "Об этом же событии Макарыч мне рассказывал иначе: "С тостом я там вылетел не застольным, о гибели русской. Шолохов смягчил, все поняв — не для той компании мои слезы..."

Зачем я все это рассказываю? Затем, чтобы подвести тебя, уважаемый читатель, к выводу: жизнь, сама жизнь, а не пыльные фолианты с библиотечных полок, подтолкнула В. Шукшина к замыслу пьесы-сказки "До третьих петухов" ("Ванька, смотри!"). Именно сказки, а не рассказы и не повести, потому что жизненный материал, которым он располагал, в то время исключал прямой разговор — только иносказательный, да и то со скоморошным дурачеством. Слава Богу, русскому писателю опыта на этот счет на стороне не занимать. Достаточно "наведаться" к Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину, послушать его сказочки, чтобы ободриться и, перекрестясь, начать рассказывать свою. Так и поступил Василий Макарович.

Умер Шукшин, как умирают в бою солдаты, не успев крикнуть "мама!", зажать рану рукой. Разница только в том, что вокруг него в ту минуту валялись не стреляные гильзы и не гранаты со вставленными запалами, а книги. 98 томов!.. Наверное, были и рукописи, записные книжки, наброски сюжетов, важных мыслей: он не давал потухнуть творческому огню в сердце своем ни на минуту. К сожалению, в описи о рукописных материалах ни слова...

Сохранился снимок фотографа-криминалиста: умерший лежит на спине, руки — на груди, возле кровати — сапоги, на них — портянки. Засыпая, он помнил, что завтра, утром, будет не писателем Шукшиным, а солдатом Лопахиным, и займет свое место в окопе, на подступах к Сталинграду, и будет сражаться за Родину... Но утро для него не наступило. Он умер. Умер ночью, во сне, далеко от Москвы, в каюте теплохода, почему-то на ночь не закрытой... Кто вошел в каюту первым, неизвестно...

Тело его отвезли в Волгоград, там сделали вскрытие. Анатомический театр оказался полон студентов. Почему-то именно его, Шукшина, выдающегося сына России, надо было распотрошить на глазах представителей молодого поколения... "С учебной целью!" Кошунством это называется! Надругательством!

Причиной скорострительной смерти бала определена "сердечная недостаточность"... И еще — "интоксикация" — злоупотребление кофе и табаком...

Попробуйте опровергнуть!

Враги Шукшина, а их было немало, поставили свой диагноз: "много пил — потому и загнулся". А. Заболоцкий, встречавшийся с режиссером Шукшиным каждый день в течение последних пяти лет, отвечает врагам: "По сей день слышу: "Шукшин загубил себя сам — перегружался работой и пил". Так вот, клятвенно свидетельствую: с 1969 года (я работал с ним до последних дней) ни разу ни с кем он не выпивал. Даже на двух его днях рождения не тронул он спиртного. Рассказывал не без гордости: даже у Михаила Александровича в гостях не выпил... "Вот уже семь лет держусь в форме! — добавлял с удовлетворением. — Все искушения гашу работой".

А. Заболоцкий раскрыл и еще одно важное обстоятельство: не сердцем, оказывается, был он слаб, а желудком. "Желудок лечил всю жизнь, — недоумевает Заболоцкий, —

а в заключении о смерти — сердечная недостаточность... А язвы желудка — нет, — сказал врач, проводивший вскрытие.

Вот это **насторожило** и тогда, и сейчас **туманно...**"

Чтобы рассеять туман, он со своими друзьями потребовал повторного анатомирования, уже в институте Склифосовского, в Москве, но ему "исчерпывающе" объяснили, что "заключение о смерти уже есть".

Туман сгустился еще больше...

Что касается "перегруженности работой" — доля истины в этом есть. М. А. Шолохов, сказавший В. Шукшину при первой встрече: "Бросай, Василий, в трех санях сидеть, пересаживайся в одни, веселей поедешь!", я думаю, имел в виду не только необходимость сосредоточиться на чем-нибудь одном (по его мнению — на литературе), но и огромную его перегруженность — и физическую, и психологическую, — перегруженность, при которой реализовать свой талант невозможно.

Анатолий Заболоцкий, видевший своими глазами, что означала эта "перегруженность" на деле, то и дело прерывает свой рассказ о Шукшине-режиссере восклицаниями: "Ох и попил он кровушки у Шукшина, пока не убрали его в Москву" (об одном из директоров фильма). "Сколько же нервных клеток сгорело в те дни, а у Макарыча — особенно". "Нервы, изведенные на хлопоты, дали себя знать. В очередной раз ложится он в клинику Василенко"... "И как же он работал! — рассвет его не сваливал в кровать: кофе и сигареты — и вперед!" А вот и вывод, для многих неожиданный: "Чем больше видел Шукшина в работе, в житейском круге, тем больше жалило какое-то его одиночество — вроде никогда не бывал без собеседников и коллег, а все же был как-то отстраненно одинок. Ни один из маститых режиссеров студии (имени М. Горького. — С. В.) его не поддерживал".

Встреча с М. А. Шолоховым перевернула душу Шукшина. Его совет "пересесть в одни сани" не выходил из головы. Да и сам образ жизни великого писателя, почти пименовское уединение, располагающее к глубоким раздумьям, сосредоточенности, обеспечивающее продуктивность писательского труда, — склонял его к решению бросить наконец кинематограф и целиком отдаться литературному творчеству. Вспомнил при этом, что и Василий Белов, и Леонид Леонов советовали ему то же самое... И он всерьез начал поговаривать, что теперь так и поступит, и уедет на Алтай, к себе на родину, чтобы обрести желанный покой, без которого серьезный художник невыносим.

Увы, судьба распорядилась иначе. Шукшина не стало. Он ушел от нас, рано ушел. Самые главные книги его, судя по всему, были впереди. Русской литературе еще раз крупно не повезло.